

Двадцатый год

Зимой 1920 года Лева Задов вместе с братом Данькой из опустевшего повстанческого района тихонечко двинул в выстуженный, мертвый, охолоделый город Юзовка (Донецк), чтобы там, посоветовавшись с родней, решить, как жить по-новому. Ибо казалось тогда – самому Левке Задову казалось, – что махновщина иссякла, и, что бы там ни было в прошлом, надо опять пристраиваться к жизни и искать, пожалуй, путь возвращения в Красную армию... В середине февраля Махно сломал сыпной тиф. Его увезли в Дибривку, оттуда – на хутор Белый, отстоящий от нее в пяти верстах. При нем оставалось лишь несколько человек охраны. Десять дней батяка был без сознания. Никто не знал, где он. Вряд ли и он сам осознавал, где он. Вновь поползли слухи о его смерти...

Почему он выжил? Вернее так: для чего? Вся штука в том, что в принципе Махно был обречен на гибель, на смерть – от пули, от подосланного убийцы, от болезни. Все это было в его биографии. Но История его сохранила. Он один среди предводителей крупных антибольшевистских мятежей остался в живых. Что хотела сказать беспощадная насмешница История, возвращая изорванного тифом батяку на сцену Гражданской войны? Почему не дала ему тихо умереть на хуторе Белом, а вновь выволокла из-за кулис и вывалила на сцену, на арену, как умирающего гладиатора? Как римский центурион, знающий толк в военном деле, хладнокровно следит она за боем и, лишь когда трупы убитых замирают на арене и последний оставшийся в живых раб, израненный и забрызганный кровью, невидящими глазами обводит амфитеатр, чтобы узнать приговор поверженному врагу, она произносит: «Кто бы он ни был – добей его!» История не знает жалости. Гражданская война, начинаясь как драматическая битва за правое дело (всеми без исключения сторонами), доводит сражающихся до таких пределов жестокости, предательства и опустошения, что, возможно, и прекращается потому лишь, что долгое существование в поле раскаленной ненависти невозможно для человека. Но именно туда, в полымя ненависти и гибели, готовилась вернуть История выздоравливающего Махно. Еще должен был состояться последний бой. Лишь после него энергия войны иссякает, как энергия вулканического извержения, и на конусе огнедышащего вулкана вновь вырастают кустарники и травы.

Для этого нужно только время. Мне врезалась в память одна фотография 1921 года: на фоне обуглившихся остатков дома – крестьянская семья. На первом плане, почти во всю длину снимка, распростерто тело умирающего или уже мертвого мужика в холщовых штанах и рубахе. Голые ноги и кисти больших рук его невероятно худы, лицо бескровно и сурово, как иконописный лик псковского письма. Глаза закрыты. Над ним жена и дети – в позах, выражающих полное отчаяние.

Это и есть конец Гражданской войны. Конец всех иллюзий, конец веры во все слова, во все лозунги, конец любви, семьи, быта, крова – и конец ненависти, ибо ненависть больше ни к чему, ничего ею нельзя поправить. Двадцатый год еще не истощил до конца великую

страну. В ней еще жила страсть – колючий, неистовый, разрушающий дух борьбы каждого за свое право.

Когда-то, задолго до революции, Кропоткин в книге «Идеалы и действительность в русской литературе» пытался осмыслить загадку истории, над которой размышлял и Толстой – устами своего любимого героя, Платона Каратаева. Кропоткин пишет: «Он (Каратаев) прекрасно знает, что бывают такие естественные несчастья, которые... являются неизбежными последствиями гораздо более великого события, т. е. вооруженного столкновения народов, которое, раз начавшись, должно развиваться со всеми возмутительными и вместе с тем совершенно неизбежными своими последствиями» (39, 420). В 1920-м клубок возмутительных и неизбежных последствий 1917-го еще не размотался до конца: процессы, которые в обычное время занимали бы десятилетия, в спрессованном времени революции шли с колоссальными, брызжущими кровью перегрузками. Что же происходило?

Чтобы понять, почувствовать этот неуловимый, ускользающий, промежуточный год, когда смыслы прошлого почти уже иссякли, а смыслы будущего еще не набрали силы, можно попробовать рассечь его в нескольких плоскостях и, вглядываясь в рисунки тонких срезов времени, попытаться различить какие-то важные его черты в сопоставлении событий или в перипетиях отдельных человеческих судеб.

С точки зрения военной двадцатый год был очень динамичен. Крах Колчака, крах Деникина, начало и конец врангелевской эпопеи, начало и конец советско-польской войны – все это укладывается в этот короткий промежуток времени. Формируется советская военная элита. Из пятерки первых красных маршалов Егоров в 1920 году уже выдвинулся в первые ряды (командующий фронтом), Тухачевский тоже командовал фронтом, Блюхер еще не вызрел – в 1920-м командовал еще только Перекопской ударной группой, Буденный предводительствовал Первой конной, Ворошилов был у него в Реввоенсовете. Последние двое оказались первыми уже в тридцатые годы, в двадцатом их имена значили, в общем, не больше, чем имена прочих командармов, отличившихся при сокрушении белых. 1920 год – звездный час главкома С. С. Каменева и М. В. Фрунзе, который из далекого Туркестана был вызван в центр, чтобы принять Южный фронт, возглавив операции против главного врага Страны Советов – генерала Врангеля. В подчинении Фрунзе безусловные военные таланты – командармы А. Корк и Р. Эйдеман, у Фрунзе – 2-я Конная опального командарма Ф. Миронова, который, несмотря на свое романтическое бунтарство, больше подходящее для 1917 года, все же продержался на командных должностях до 1921-го... Из тех, кто не был репрессирован в 1937-м и дожил до мировой войны, уже замечен был будущий маршал Тимошенко (в 1920 году командовал кавалерийской дивизией против Врангеля). Маршал Конев, напротив, совершенно неизвестен, будучи военкомом дивизии, которая где-то на востоке Сибири гонялась за белыми партизанами – Семеновым и Дитерихсом. В тех же глухих местах оперировал комкавполка Рокоссовский. Г. К. Жуков в 1920-м окончил кавалерийские курсы, командовал сначала взводом, потом эскадроном – на Южном фронте. Вполне могло случиться, что судьба столкнула бы его с Махно. Но вышло иначе: эскадрон Жукова был брошен против Антонова... Но если для одних 1920 год был годом начала, годом, когда формировался стержень жизненной биографии, то для других, с неменьшим основанием – это год конца, год распада, год догнивания последних надежд, последних

помыслов. Год скитальчества, отчаяния, исхода – таким предстает 1920-й в книге В.В.Шульгина, которая так и названа: «1920».

Третий год голода.

Второй год тифа.

Засуха.

Летом по всей России в довершение к прочим бедам, причиненным войной, пошли лютые пожары. Горели Вязьма, Курск, Кострома. Страшный пожар был в Саратове. «В течение 6–8 часов сгорело 36 кварталов, пострадало от пожаров 25 тысяч жителей, много скота, много было человеческих жертв», – читаем в частном письме того времени. Горело всюду: изучая географию пожаров 1920 года, я поймал себя на том, что склонен приписывать разыгравшейся стихии огня какой-то мистический смысл. Будто природе надоело безобразничание людей, и она, в свою очередь, разнуздала стихии, своими средствами доводя до крайности, до абсурда, картину учиненного людьми разрушения. Язычники верили, что происходящее в душе человека связано с тем, что происходит в природе. Может быть, в этом больше смысла, чем мы привыкли думать. И вполне может случиться, что люди 1920 года чувствовали это. Какая-то неизъяснимая горечь слышится в словах простых людей, которым эти пожары рушили всю привычную жизнь. Бельск, август 1920-го: «У нас пожары все лето, сгорели все леса, и ветер дул на нашу деревню, она вся сгорела, ужасный пожар, такого еще никто не видел». Костромская губерния, тот же август: «Юрьеvec кругом в пожарах. Сгорели леса, поля и хлеб. Крестьяне остались без хлеба». Курск, сентябрь: «Был очень большой пожар, сгорело около 100 домов и казенный дом, где было много скота. Отчего произошел пожар, никто не знает» (78, оп. 1, д. 16, л. 6).

«Такого никто не видел», «никто не знает» – какое-то наивное удивление испытывает человек пред этой чрезмерностью ужасного, по сравнению с которой все политические обольщения прошлых лет и порожденные ими политические катаклизмы выглядят сущим мельтешением... Уже в этих строчках прочитывается «довольно, хватит», но еще слишком тихо звучат эти голоса, еще не набрали они силы.

Летом – эпидемия холеры.

Массовое дезертирство из армии.

Почти первобытное запустение: в Петрограде Блок по две недели не может писать из-за отсутствия света. Нет ни электричества, ни свечей, ни керосина. Впрочем, Блок и не пишет, он потихонечку сходит с ума, ему все тягостнее окружающее, он все глубже, все внимательнее всматривается в колодезь смерти. Но о Блоке потом, отдельно. Еще надо просмотреть главные работы Ленина, пролистать бесконечное количество записочек, которые вождь мировой революции писал то одному, то другому своему соратнику, требуя радикально разобраться с неубывающими в советской республике беспорядками. В записочках можно обнаружить то, что не видно в больших работах: гневливую раздражительность этим нерационально большим количеством сбоев в планомерных государственных делах. И, вместе с тем, – совершенную уверенность в том, что Историей

можно управлять, как автомобилем, была бы только твердая рука, держащая руль... Именно в 1920-м с Лениным встретился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, после этой встречи написавший очерк «Россия во мгле», где Ленин задиристо, но как-то чрезвычайно поверхностно поименован «кремлевским мечтателем». Интересно, что либерал Уэллс, побывав в красной России, не разглядел кровавой и растлевающей сути большевистской диктатуры, что Ленин для него – лишь прекраснородушный «мечтатель», что наиболее трудновыполнимой кажется английскому писателю именно прикладная, техническая задача: осветить эту нищую, темную, как тайга, страну. Ленин, как известно, рассказывал Уэллсу о плане ГОЭЛРО.

План электрификации России в 1920 году был не более чем планом, но он существовал и был утвержден как правительственная программа. Именно в этом году И. Г. Александров предложил построить гигантскую электростанцию на Днепре, в районе днепровских порогов, возле селения Кичкас, тогда находившегося в самом пекле махновщины. Тогда большая стройка в самом деле казалась фантастической. Однако, когда Уэллс через 14 лет приехал в Россию, Днепрогэс уже был построен, что, казалось, красноречивее всяких слов опровергало аргументы англичанина в давнишнем споре с Лениным.

В 1920 году Ленину исполнилось 50 лет. Маяковский посвятил юбилею стихотворение «Владимир Ильич!», прочитанное им публично в Московском доме печати. Поэт, однако, увидел в Ленине совсем не то, что увидел Уэллс. Стихотворение Маяковского глубоко и искренне восторженно, как и многое из того, что им создано. Для него рождение Ленина – событие планетарного масштаба, как бы приращение головы к телу бессмысленной, хаотически дергающейся человеческой материи. Является Ленин – и планеты садятся на оси. Появляется целесообразность. Теперь все ясно: мети!

...Ноги знают чьими трупами им идти... И руки знают, кого им «крыть смертельным дождем». Но если команды топтать трупы и крыть из пулемета отдает голова, то это голова не убийцы ли? В целом Маяковский не рефлексировал по этому поводу. Война – значит, убивать нужно. Важно лишь знать – кого. Ленин указывает врага, которого поэт потом окарикатуривает и выставляет в окнах телеграфного агентства народу на оплевание. Ленин – не мечтатель, Ленин – бомба, снаряд со смертельной начинкой:

...Пожарами землю дымя, Везде, где народ испленен, взрывается бомбой имя: Ленин! Ленин! Ленин! Маяковский упивается мрачной романтикой классовых битв настолько, что, кажется, не понимает, что его стихи по-настоящему страшны. В них кровь, в них ужас 1919 года, доведенное до бесчувственности ожесточение войны, заложники, зверства ЧК... В 1920 году Дзержинский отменил бессудные расстрелы в ВЧК. Не в том дело, что мера эта недолго продержалась и на местах не переставала оставаться словесной декларацией – уже в феврале 1920-го на Украине в «махновском» районе практиковались массовые расстрелы, – а в том, что голос возмущения все-таки прозвучал, что было поползновение к некоторому смягчению режима.

Кстати, именно на двадцатый год приходится наибольшая активность группы «демократического централизма» – одной из самых интересных, хотя и мало известных «оппозиций» в РКП(б). Лидер «децистов» Тимофей Сапронов был выходцем из самых низов,

из какой-то полукрестьянской семьи, но он реальный был рабочий, строитель, а не партиец-профессионал, вышколенный на бесконечных съездах, поэтому, когда партия избрала курс беспощадства и воинской рутинной дисциплины, он забрыкался и понес общеизвестную крамолу: «борьба против главкистского бюрократизма», свобода фракций, власть – Советам. Сапроновцев осудил IX партийный съезд, но они упрямятствовали, примкнули к «Рабочей оппозиции», которая выдвинула, по сути, те же лозунги, которые сторонниками генеральной линии на следующем, X съезде РКП(б) в 1921 году были безошибочно квалифицированы как мелкобуржуазные, ибо они исходили не из логики классовой борьбы, а из интуитивного ощущения, что нельзя больше жить в такой душилке и ожесточении. «Рабочую оппозицию» на съезде, как известно, забаллотировали, специальной резолюцией фракции в партии были запрещены навсегда, а группа Сапронова – исключена из рядов как антипартийная и неисправимая. Потом все, как водится, утряслось, и Сапронова не забыли, восстановили, перемололи на партийной мельнице (чтобы затем, как и положено, расстрелять в 1937 году), но в 1920-м какое-то еще оставалось внутривнутрипартийное свободомыслие, еще могла возникнуть идейная борьба, какие-то, пусть небогатые, варианты оставались у Истории, несмотря на все попытки загнать ее в искусственное русло.

В 1920-м все-таки были надежды, что, вот, кончится война – и не нужно будет больше крови и жестокости, все образуется по-человечески.

Кто-то раньше других ощутил, что этого не будет. Именно тогда уехали за границу И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус. Деление по принципу «красные» – «белые» давно закончилось. Начиналось все более тонкое расщепление на «своих» и «чужих» меж теми, кто остался в красном стане. Не столько по классовому признаку даже, сколько по складу ума, по стилю жизни. Еще не дошло до «парохода философов», насильно высланных в 1922 году. Но дошло, например, до церкви. В 1920 году декретом СНК была национализирована Троице-Сергиева лавра. Патриарх Тихон просил о свидании с Лениным, надеясь разъяснить, почему нельзя и невозможно так делать. Ему ответили, что председатель Совета народных комиссаров ни сейчас, ни впредь не будет иметь времени для встречи с ним вследствие занятости более важными делами...

Наступало время «лишних» людей, которые с их излишними заботами должны были либо исчезнуть, либо перестроиться и присягнуть. Лишним в новой России оказался В. В. Розанов – он умер от истощения в 1919 году. Многие поняли, что «лишний» – значит «обреченный», и попытались спастись. Пробрался на юг, к черноморским портам, крупнейший ученый, академик В. И. Вернадский. Он пробыл за границей очень недолго, уже в 1921-м вернулся в Россию, а вот сопровождавший его в скитаниях украинский сопроматчик С. П. Тимошенко добрался до США и основал там собственную школу. Отец физиологии И. П. Павлов тоже хотел эмигрировать, написал об этом Ленину. Нобелевский комитет, в свою очередь, подтвердил, что готов должным образом обеспечить работу нобелевского лауреата за границей.

Запахло, в некотором смысле, скандалом. Ленин распорядился удвоить Павлову академический паек и выделить средства на содержание института. Академик остался. Тогда в Петрограде родилась знаменитая шуточка о том, как кто-то из собратьев по науке встретил Павлова на улице и попросил: Иван Петрович, возьмите меня к себе в институт...

- Кем?

- Да хоть собакой...

В Петрограде было хуже, чем в Москве. Он был выстужен, как железная бочка. Абрам Федорович Иоффе, директор Политехнического, избранный в 1920 году академиком, не мог, несмотря даже на это, предохранить своих сотрудников от ужасов окружающего. У Петра Леонидовича Капицы, двадцатилетнего гения, крысы съели сына в родильном доме. Сосновый лес, окружавший Политехнический институт, был вырублен на дрова еще минувшей зимой. Трудно поверить, что в этих условиях ставились эксперименты, подобные тому, о результатах которого А. Ф. Иоффе писал в июле 1920 года физику Паулю Эренфесту в Голландию: «С Капицей мы наблюдаем явление Эйнштейна и де Гаазе в пустоте без всякого поля при размагничивании никеля (при 350 °С). Сейчас изучаем скорости молекул по методу Физо в пустоте... Любопытные результаты дают рентгенограммы металлов...»

Июль 1920-го, когда писалось письмо, - это разгар польской войны, отчаянные попытки врангелевцев развить наступление из Крыма, рейды Махно в тылу Красной армии. А тут - изучение скорости молекул по методу Физо... Трудно поверить, что это - одновременно.

В московском ЦАГИ у Жуковского построена аэродинамическая труба. Сам Жуковский доживал последний год жизни и делать практически ничего уже не мог. Но у Жуковского работал Фридрих Цандер, который потом построил первую настоящую ракету... Сохранилась фотография Цандера 1920 года - он сидит за рабочим столом на стуле. Нога на ногу. Светлые носки съехали вниз гармошкой, парусиновые туфли, аккуратный, но сильно поношенный костюм, белый воротничок рубахи. И лицо. Повернутый к нам ясный, спокойный лик человека, глубоко погруженного в свои раздумья. В руках - книга. В марте 1920-го в чертежах Цандера появляются две схемы крылатых ракет...

В выкладываемой нами мозаике года много несостыковок, противоречий - и это неизбежно: извержение исторического времени происходило неравномерно, с разной скоростью текли его потоки. Возможно, что Цандер и Махно вообще существовали в разном времени, произвольно объединенном хронологией 1920 года.

А Блок? А Есенин? А Маяковский? Ими «пограничность», «край» времени должны были, наверное, ощущаться особенно остро?

Конечно.

Для Блока в 1920 году время иссякло, для Маяковского - бурлило и билось, как молодая пенная кровь. Блок спрашивал молодого Корнея Чуковского, быть может, втайне надеясь, что тот опровергнет его:

- Все звуки кончились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?

Чуковский, кажется, промолчал. Он носился из редакции в редакцию, чтобы заработать на еду. А Маяковский делал сотни подписей и картинок для «Окон РОСТА», он работал как машина, все вокруг него гремело артиллерийским гулом и орало трубным гласом

кустодиевского большевика: «Гражданин! Красноармейцу холодно...» «Товарищ! Голодает зачастую твой защитник...» По агиткам Маяковского можно узнать, как шли дела на польском фронте, и как на врангелевском, и как заворачивалась хлебная кампания, и про дезертирство, и про заготовку башмаков у населения, и про то даже, что «всего у нас 38 тысяч телефонных аппаратов». Думаю, Маяковскому можно верить – в конце концов, это официальная статистика.

А еще было античное коктейбельское время Волошина, который в нем, в этом времени, пытался спрятать своих друзей 1920 года.

И нервное – на краю гигантской истерики – время Есенина.

И хотя слишком пространные отступления все дальше уводят нас от темы, мозаика 1920 года будет зиять чудовищными дырами, если не обмолвиться хотя бы кратко о нескольких именах. Имена эти выбраны произвольно, по принципу личного предпочтения: мне кажется, что в судьбах упомянутых мною людей как-то особенно преломляется свет года. Это субъективное видение, но иного у меня нет.

Велимир Хлебников: как и Маяковский, работает в «Окнах РОСТА», только в Пятигорске, а потом в Баку. В своей серьезной (возведенной в принцип) беспечности гения дрейфует на юг, где-то на берегу Каспия выдирая из знаменитого гроссбуха со стихами несколько страниц, помогает рыбакам разжечь костер... Пред ним первобытная земля, первобытная, живая, клокочущая история, покачнувшая целый мир, первобытная усталость.

...В бреду – холод цыганский, А я куда-то бреду и бреду Канта учить по-табасарански... Соприкосновение Канта и табасаранцев – маленького южнодагестанского народа – для него поэтическая и историческая метафора колоссальной силы, едва ли не магический знак. Как прозвучит по-табасарански категорический императив Канта? Как «мир вашему дому»? Как магометанская молитва? Как выстрел?

Изгой империи и юродивый культуры, он вдруг становится соучастником и сотворцом грозных событий:

...Пали цари, но гордо стояли утесы войны... Война, текучесть и неустойчивость мира, романтические надежды, обнажение естественного (и доброго, и злого – но невыдуманного) в человеке – его стихия. Как только мир остановится, он умрет, так не увидев своего «Солнцестана». Да и вряд ли его бродячая душа смогла бы обрести в нем покой...

Еще один утопист двадцатого года – Андрей Платонов. Он только еще зарождался как писатель в родном Воронеже, ему всего 21 год, он еще называется «рабочим», хотя уже заведует отделом писем в газете... Его очерки того времени поражают: они написаны, безусловно, Платоновым, но как бы с чужого голоса, с чужого ума. Во всяком случае, совсем не тем человеком, который благодаря своей сверхъестественной интуиции каким-то священным пророческим языком набормотал «Котлован» и «Чевенгур».

Он полон ясного ожидания светлого будущего. Он, вообще, доверчив. «Ленин – это редкий, быть может, единственный человек в мире, – пишет он в 1920 году в очерке „Ленин“. –

...Главное в Ленине (за что и полюбили мы его так, когда поближе узнали) это – что он вперед понимал и высказал тайную, еще не родившуюся мысль, сокровенное желание миллионов трудового народа и вынес в свет общего сознания то, чего все хотят, чего всем нужно...»

Чего же всем нужно? Движения жизни, правды, теплой, братской коллективности труда... Молодому Платонову хотелось именно это видеть в происходящем вокруг – и он это видел. Когда же ракурс его видения изменился, он увидел «Котлован». Для этого нужно было, чтобы прошло время и чтобы за это время не разложилась гордостью или самодовольством глаголющая человеческая душа.

Удивительнее всего в Платонове 1920 года то, что иногда этот почти мальчик, пишущий сознательным языком пролетария, начинает изъясняться от себя – не вполне прозрачным слогом, достойным средневековых мистиков, и тогда обнажается его не поддающаяся порче золотая душа:

«Безмолвие любви – последнее познание двух душ, что одно...»

«Женщина – тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска...»

Откуда двадцатилетний мальчик узнал о «смертной тоске» мира?

Еще один срез времени: Марина Цветаева. В письме к сестре 1920 года о жизни своей так: «В феврале этого года умерла Ирина – от голоду – в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла... Ирине было почти три года – почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела. Слух и голос были изумительные. – Если найдется след С. – пиши, что от воспаления легких... Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное занято.) Дом разграблен и разгромлен. – Трущоба. Топим мебелью. – Пишу. – Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. Служила когда-то 5½ мес. (в 1918 г.) – ушла, не смогла. – Лучше повеситься».

Когда сестра Цветаевой, Анастасия Ивановна, приехала в Москву в мае 1921 года, она Марину не узнала: та постарела, стала независимей (и уязвимей?): «Я очень очерствела – и не жалею». Цветаева жила в своей запустелой (и запущенной) квартире с жильцами-самогонщиками. С прошлым было покончено: семейное гнездо разорено, тарусский рояль продан за пуд черной муки, о муже она ничего не знала. Ей нравилось так жить, нравились и неприкаянность, и свобода, и ненужность прошлого, и любовная тоска – все то, что рождало фантастические, небывалые в русской литературе стихи, в которых яд, и мудрость, и мука женской любви, и неизъяснимая грусть свободы, иногда выпадающей на человеческую долю, – предельное, хирургическое какое-то обнажение сердца... Когда Анастасия Ивановна попыталась чуть-чуть изменить мир сестры, убрать хотя бы неустройство, выстирать рубашки и наволочки, вымыть посуду и паркет, Марина обиделась:

– Мне это совершенно не нужно...

Она охраняла свой мир, сад своих стихов, столь дивно плодоносящий на запустении 1920 года. Она и в этом противопоставляла себя устроившимся или откровенно, как Брюсов, продавшимся за пьедестал, за паек, за морфий. Она хранила, берегла запустение.

Это понятно. Но – ребенок?

Нам никогда не разгадать этой тайны до конца. Цветаева мучилась и искала себе оправдания. Находила: «Никто не помог! Когда умирала Ирина, бывшие друзья катались в колясках со своими дельцами... Была одна мороженая капуста. Чтобы детей взяли в красноармейский приют, я должна была подписать бумагу, что это беженские дети, что я их нашла у своей квартиры. Взяли, и там их кормили. Но Ирине уже было поздно...» (Из письма сестре.)

«Няня увозила два раза Ирину к себе в деревню, она оживала на хлебе, лепешках, на каком-то деревенском вареве, начинала ходить, говорить... Но долго она не могла держать ее там, возвращалась и привозила ее, и снова Ирина переставала ходить и говорить, сидя в коляске, и пела – у нее был удивительный слух... В приюте за Москвой я их навещала. Но когда Аля заболела сразу тремя болезнями, мне пришлось ее взять... Спасти обеих я не могла – нечем было кормить, я выбрала старшую, более сильную, помочь ей выжить... В последний раз я видела Ирину в той большой, как сарай, комнате, она шла, покачиваясь, в длинном халате, горела лучина... В Москве я лечила Алю, топила буржуйку креслами красного дерева, она начала поправляться. И однажды в очереди за содой – мыла в Москве не было, я узнала от бабы, что Ирину накануне похоронили...» (Из письма сестре.)

Этот предсмертно поющий ребенок Цветаевой – тоже символ 1920 года.

Иногда мне в Цветаевой чудится что-то воистину злое. Вот словно дочка ее умерла, чтоб она могла написать:

Светлая – на шейке тоненькой — Одуванчик на стебле! Мной еще совсем не понято, Что дитя мое в земле... Одно стихотворение. А затем – каскад утонченнейшей любовной лирики... Понимаю, что кощунствую, но почему же (прости, Господи!) не уехала с детьми в деревню совсем, почему не устроилась как-нибудь?!

«Не смогла». Не могла жить, пригибаясь. Не умела. Не нам судить.

...Долг плясуна – не дрогнуть вдоль каната... Цветаева не смогла служить, а Блок не смог жить. Если б его выпустили в начале двадцатого – ну, хотя бы «в Финляндию на лечение», как просили за него, – он бы выправился, наверное. Но ему не дали уехать: все-таки «Двенадцать» написал, неловко будет, если останется... Двадцатый год для Блока начинался вполне даже неплохо: в издательстве «Всемирная литература» он начал редактировать сочинения Лермонтова, написал предисловие к изданию, но предисловие вдруг отвергли. Блока восхищал Лермонтов-мистик, Лермонтов – первооткрыватель красок, символов и мятежного духа Кавказа, а у Блока попросили, соответственно новым веяниям, Лермонтова-обличителя, Лермонтова-Белинского. Блок замкнулся. С 1918 года он становился все более и более раздражительным (доходило до дневниковой мольбы к Богу избавить его от ненависти к соседу-буржуа). Теперь раздражение стали вызывать даже

люди из ближайшего окружения. На заседаниях редколлегии «Всемирки» он глухо молчал. Разговаривал только с Гумилевым. Об уехавших за границу соотечественниках говорил, не умея скрыть безгливости...

В своих воспоминаниях К. И. Чуковский отмечает, что в 1920 году нервная чувствительность у Блока настолько обострилась, что присутствие нелюбимых людей вызывало у него физическую боль. Стоило кому-либо из таких людей войти—и на лицо Блока ложились «смертные тени» или оно начинало дрожать. Нелюбимых становилось все больше... Новое время беспощадно выпихивало его, последнего поэта-дворянина. Куда? В смерть. Блок знал, что революция будет. Пожалуй, что он даже ждал ее – в старом мире ему было невыносимо скучно. Он также чувствовал, что скорее всего погибнет, сгорит в ее огне. Ему виделись мрак, гибель, падающий демон с огненными крылами. Он не знал, что ему придется медленно доходить от сырости, холода, темноты, тупости, хамства. К гибели он был готов, к этому – нет.

Он впал в глубочайшую депрессию. Сам ничего не сочинял, редактировал переводы из Гейне, составлял каталоги для издательства Гржебина, писал рецензии на каких-то мельчайших поэтов... Надеялись, что поездка в Москву с публичным чтением стихов приободрит его, – но Москва, до безмозглости продутая «новыми веяниями», поэтически лязгающая и кричащая (футуризм), его добила. Ему не нужно было появляться перед большой аудиторией. Он появился.

Вероятно, на Блока пришли те, кто любил Блока. Но пришли и другие, имеющие кумиром «агитатора, горлана, главаря». Он лицом к лицу столкнулся с хамством – не поэтизированным хамством «двенадцати», а хамством настоящим, властным, всепроникающим, – и вновь не выдержал. Чуковский вспоминает два случая, которые подействовали на Блока, как нокаутирующие удары. Оба они известны, но от этого не становятся менее трагичными.

Однажды на выступлении Блока в Доме печати кто-то из зала выкрикнул:

– Что вы слушаете? Это стихи мертвеца!

Публика зароптала, но Блок был ранен в самое сердце. После выступления он наклонился к Чуковскому и тихо сказал:

– Он говорит правду: я умер...

Он чувствовал свою причастность к старому миру, нестыковку с новым, какую-то принципиальную разницу в способе прочтения мира между ним и аудиторией. Возможно, они попросту говорили на разных языках. Однажды он намеренно подчеркнул это. Все восприняли как странность или как причуду. Но, кажется, это был бунт.

Последний бунт последнего поэта-дворянина.

Блок читал стихи, как вдруг лицо его стало подергиваться, и он прервал выступление и, ничего не объясняя, вышел за кулисы. Оказалось, что в зале – человек с шапкой в руках, вид

которого просто растерзал Блок. Его стали уговаривать продолжить выступление, он отказывался. Чуковский пытался урезонить: ведь всего один человек...

Блок взглянул на него:

– Да там все они... в шапках.

В конце концов Блок все-таки появился на трибуне, но, к удивлению собравшихся, неожиданно стал читать по-латыни стихи Полициано. Он не желал более принадлежать современности...

В Москве уже стали случаться с Блоком странности: провалы в памяти, путаница в хронологии. Он явно выходил за рамки установившегося по календарю 1920 года, творил со временем что-то свое. Иногда лицо его безжизненно застывало, как маска. После Москвы он так и не оправился, постепенно уходя в смерть, в столь ненавистное и столь драгоценное прошлое...

Кажется, мы сказали достаточно о 1920 годе, чтобы немного почувствовать его. И в то же время мы сказали непростительно мало, обойдя вниманием десятки событий, документов, имен. Одно сказать – ни слова о Горьком, ни слова о Гумилеве и Ахматовой, ни слова о Булгакове, Ходасевиче, Короленко, ни слова о Петрове-Водкине и Филонове. Философов вообще забыли... Нам придется смириться с этим. Чтобы вернуться к нашей теме, нам остается сделать только одно обязательное отступление в 1920 год. В 1920 год Сергея Есенина.

Это последний год есенинской силы. Он ощущал себя главой новой поэтической школы, возвышающейся над профанным футуризмом. Он поразительно мало писал, но все написанное им было поистине пронзительно. Он пронзен тонкой жалобной нотой сорокоуста – сорокадневной поминальной молитвы по умершему.

Что же умерло? Для него – умирает весь его мир, вернее то, из чего он черпает поэтическое вдохновение, – мир деревни. Его начинает не на шутку двоить: горожанин и сноб задыхается без необходимого ему деревенского воздуха. В 1920 году Есенин съездил на родину, в Константиново. Ему там очень не понравилось. Циник Мариенгоф в «Романе без вранья» утверждает, что в деревне стало Есенину просто непроходимо скучно. Если бы просто скучно, то не вывез бы он с родины отчаянного чувства, что случится или вот-вот случится что-то, что разрушит собранную им хрупкую сферу смыслов, – и убьет его. Его образы, все, что им любимо, – исчезнет, потеряет поэтическое очарование, сделается никому не нужным. Он тоже постепенно начинает не совпадать со временем.

Все его попытки приладиться к советской власти, в общем-то, не удаются. Есенинское благополучие 1919–1920 годов – следствие исключительно блефа, обмана и необыкновенного личного его обаяния. «Своим», как Маяковский, он себя в большевистской России никогда не чувствовал. Есенин – частное лицо, поэт, пережиток романтической эпохи. Маяковский – власть, судья, работник революции. Он пишет сатиру на дезертира, клеймит позором запечную рябую харю с «козьей ножкой» в зубах и не желает слышать голосов усталости и зовов материнской жалости: «Возвращайся, сыночек, было бы за что

помирать». Интересно эти маяковские сатиры подсветить материалами из дезертирских сводок – тогда сразу обнаружится объем проблемы, ее человеческое измерение, а не одна только жестяная плоскость агитки. «Постарайся перевестись в Саратов, – читаем в перехваченном письме. – Послужил, и довольно, приезжай хоть за теплым бельем, а там посмотрим...» «Нам очень обидно, вся молодежь дома, нет только вас четверых. Тимошку поймали и посадили в Калуге в тюрьму, остальные кто на вокзале, кто где...» «Твоего брата Ефима расстреляли, приняли за дезертира, а он был отпущен комиссией на шесть недель в отпуск. Кто-то сказал, что у него фальшивые документы, и его, не разобравши дела, расстреляли...» «Пока живу дезертиром, но придется идти, а то деревня понесет кару...» «У нас дезертиров расстреливают...» Голоса, голоса, по всей стране голоса. Вот эти-то голоса и слышит, ими болеет Есенин. А Маяковский не слышит. И не слушает. Ему ближе торжественный, убедительный тон резолюций. Он – государственный человек.

Даже портсигар Маяковского самодовольно блестит в траве, взирая на окружающее с презрением: «Эх ты, мол, природа!» Вот это самое надменное отношение к себе грядущего металлического мира Есенин чувствует совершенно отчетливо. В порыве откровенности, выдающей его тайное одиночество, он пишет Е. Лившиц, студентке, с которой познакомился во время поездки в Харьков весной двадцатого года: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности, как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому». В другом месте того же письма: «Грусть за уходящее родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического».

В 1920-м им написаны «Хулиган» и «Исповедь хулигана» – стихотворения глубоко печальные, но еще не надрывные, как два-три года спустя – стихи о нежном поэте в беспощадное время.

...Я люблю родину, я очень люблю родину! Я нежно болен воспоминаньем детства... Мне хочется вам нежное сказать... Все это Есенин говорит совершенно искренне. При чем тут хулиганство? При том, что «нежное» – не нужно. У обреченного два выхода – в меланхолию или в бунт. Так вдруг в стихах, переполненных вариациями на тему «скоро мне без листвы холодеть...», появляется упрямая, как у Маяковского, фраза:

Мне бы ночь в голубой степи Где-нибудь с кистенем стоять... В общем политическом контексте 1920 года настроение Есенина было учтено, и осенью его слегка охолодили, засунув в тюрьму ВЧК, откуда его, правда, скоро вызволили товарищи. Что раздражило чекистов – «хулиганские» стихи или маленькая поэма «Сорокоуст», – мы не знаем. «Сорокоуст», конечно, и безнадежнее, и злее. Случай, послуживший поводом к написанию поэмы, – соревнование жеребенка с поездом, – слишком хорошо известен, чтобы подробно разбирать его. То, что Есенин ехал этим самым поездом в отдельном вагоне, не помешало ему воспринять случившееся в остро драматическом ключе. Так выстраивается метафорический ряд: железное – механическое – мертвое – враг. Последний элемент этого ряда более всего необычен. Слово «враг» редко встретишь у Есенина. Если «враг» – значит, допекло. И правда, не в пьяном чаду, а в трезвости, с глубокой тоской, именно с сердцем говорит он будущему:

